

³⁶ Там же. Шифр М 5292. Л. 71–72 (вторая нумерация).

³⁷ Там же. Л. 5 (третья нумерация).

³⁸ Там же. Л. 71 об. – 72 (вторая нумерация).

³⁹ Там же. Л. 7.

⁴⁰ Там же. Л. 5.

⁴¹ ОПИ ГИМ. Ф. 221. Ед. хр. 15. Л. 24.

⁴² РО ГБЛ. Ф. музейный. Шифр М 3448. Л. 82.

⁴³ История поэзии: Чтения адъюнкта Московского университета Степана Шевырева. М., 1835. Т. 1. С. 128.

⁴⁴ Там же. С. 129. См. также: Шевырев С. Теория поэзии в историческом развитии у древних и новых народов. М., 1836. С. 231–232.

⁴⁵ РО ГБЛ. Ф. музейный. Шифр М 5292. Л. 2–2 об.

⁴⁶ Там же. Шифр М 3448. Л. 82 об.

⁴⁷ Крюков Д. О трагическом характере истории Тацита // Москвитянин. 1841. Ч. III. С. 119.

⁴⁸ Знакомство с расколом гегелевской школы и упоминание о ее "левой крайней стороне" можно обнаружить и у сподвижника Крюкова по Московскому университету П.Г. Редкина в рукописных записях его курса 1844 г. (РО ГБЛ. Ф. 178. № 3587. III. Л. 15). Осведомленность о философских идеях младогегельянцев характерна в начале 40-х годов для М.А. Бакунина, В.Г. Белинского, В.П. Боткина, Н.П. Огарева, В.Ф. Одоевского, Н.В. Станкевича, И.С. Тургенева и других представителей Молодой России того времени.

⁴⁹ ОПИ ГИМ. Ф. 221. Ед. хр. 15. Л. 12.

⁵⁰ РО ГБЛ. Ф. музейный. Шифр М 5292. Л. 2 (вторая нумерация).

⁵¹ Там же. Шифр М 3448. Л. 2 об.

⁵² ОПИ ГИМ. Ф. 221. Ед. хр. 15. Л. 22 об.

⁵³ Там же. Л. 23, 40, 46 об., 6; РО ГБЛ. Ф. музейный. Шифр М 3448. Л. 17 об.

⁵⁴ Крюков Д.Л. Мысли о первоначальном различии римских патрициев и плебеев в их религиозном отношении // Пропилеи. 1854. Кн. IV. С. 40.

⁵⁵ РО ГБЛ. Ф. музейный. Шифр М 3448. Л. 10.

⁵⁶ Там же. Шифр М 5292. Л. 4 об. (четвертая нумерация).

⁵⁷ Там же. Л. 50 (вторая нумерация).

⁵⁸ РО ГБЛ. Ф. музейный. Шифр М 3448. Л. 56 об.

⁵⁹ Герцен А.И. Собр. соч. Т. 9. С. 123.

ИСХОДНЫЕ ТИПЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В РОССИИ

Н.В. Новиков

"МОМЕНТ РОЖДЕНИЯ" РУССКОЙ СОЦИОЛОГИИ

Если под социологией понимать не совокупность всех и всяческих представлений об обществе (от Аристотеля до наших дней), а лишь специфический тип знания – науку об обществе – и тем самым определенную (при всей дискуссионности вопроса о ее границах) дисциплину, то как таковая социология во второй половине XIX в. вызывала еще

серьезные сомнения и научного и общественного мнения не только в России, но и в Западной Европе. Она существовала тогда не столько в качестве научно-познавательной практики, сколько в виде ее плана, предложенного Огюстом Контом. Пожалуй, вплоть до конца XIX в. она продолжала восприниматься как "новая наука" со всеми вытекающими отсюда последствиями, вплоть до обсуждения ее права на существование. По этой причине усилия ее сторонников в эти десятилетия сосредоточивались главным образом на обосновании ее познавательной функции и на разработке ее методологических оснований. Разумеется, обращение к социологии в различных странах (во Франции, Англии, в США и чуть позже – в Германии и Италии) несло на себе печать доминировавших в каждой из них культурных и научных традиций и текущих политических целеполаганий. Однако концептуальное содержание дискуссий вокруг нее и ее первые оригинальные наметки в то время всегда вращались вокруг идей ее "отца-основателя" О. Канта. Так было и в России.

В хронологическом отношении период, в течение которого в российском общественном и научном сознании свершилась легитимизация "вопроса о социологии" был заключен между 1868 и 1875 г. Уже в 1868–1869 гг. в русской печати появились ее первые разработки как новой науки, первые определения ее задач и методологических принципов. До этого некоторые публицисты лишь обращали внимание читателей на позитивизм и социологию во Франции и Англии. Что касается 1875 г., то это, конечно, условная дата. Однако нетрудно констатировать, что к этому моменту итоги главной дискуссии, чрезвычайно бурно развернувшейся тогда среди первых русских социологов, были подведены: 1875 год ознаменовался публикациями, носящими программный характер для каждого из двух сложившихся в русской социологии и враждебных друг другу направлений. Во всяком случае к этому времени их позиции были уже определены, причем настолько исчерпывающим образом, что борьба между ними впоследствии, в конце XIX – начале XX в., стимулировалась тем же самым принципиальным различием их парадигм, которое сложилось уже к середине 70-х годов. Речь идет об объективной и субъективной социологии.

Уже тут, имея в виду самый первый этап в становлении социологии в России, приходится констатировать его бросающуюся в глаза специфику по сравнению с аналогичным процессом в Западной Европе. А именно: ни одна другая национальная социология в то время не складывалась сразу, одновременно в двух взаимоисключающих вариантах. Несмотря на остроту дискуссий по поводу целей и методов социологии во Франции и Англии в 60–70-е годы, там уже на этом начальном этапе жизнеспособность обнаруживала лишь объективная социология и в границах этой парадигмы разворачивалось разнообразие индивидуальных концепций, начиная с Г Спенсера и кончая Ж. Дюркгеймом. В западноевропейском, а потом и в американском обществоведении существовал своего рода консенсус относительно принципиально объективного характера социологического познания. Правда, позднее сомнения в этом отношении были посеяны неокантианским идеографизмом и концепцией наук о культуре. Но это произошло в 90-е годы. А в конце 60-х и в 70-е годы, когда не только в

России, но и в Западной Европе социология переживала первоначальный этап своего концептуального конституирования, сомнений у западноевропейского социологического движения насчет ее необходимости объективного характера не было. Такое случилось лишь в России. В этой связи необходимо отметить, что парадоксально одновременному (либо буквально в одном и том же 1868 г. литературно выраженному) возникновению в России объективной и субъективной социологии историками не уделяется должного внимания. И уж совсем редко замечается, что источником и той и другой парадигмы для русских социологов было учение О. Конта. Вернее говоря, эта связь фиксируется в случае объективной социологии ("русский позитивизм ведет свое начало от позитивизма Конта"), но то обстоятельство, что и русская субъективная социология в своем исходном концептуальном содержании является продуктом усвоения и переосмысления специфических идей в составе системы О. Конта, – это, пожалуй, полностью выпадает из поля зрения отечественных и большинства западных историков социологии. Между тем это важный аспект. Потому что его фиксация и анализ позволяют восстановить происхождение этой, как нередко предполагается, "совершенно самобытной" и "уникальной национально-русской" социологической парадигмы. А именно – то, что она в действительности возникала в проблемном поле формировавшейся тогда общеевропейской постконтовской социологии.

Целью данной статьи является характеристика (краткая, лишь в главных пунктах) "момента рождения" русской социологии. При этом наибольшее внимание уделяется субъективной социологии, поскольку ее концептуальные истоки и методологические императивы описаны в литературе не всегда с достаточной точностью.

ДИСКУССИЯ В ПАРИЖЕ ВОКРУГ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ О. КОНТА

Кто положил в России начало социологии как новой и особой "науке об обществе"? В этой связи следует назвать несколько известных не только историкам, но и, пожалуй, широкому читателю имен. Это – П.Л. Лавров (1823–1900), Е.В. де Роберти (1843–1915), Н.К. Михайловский (1842–1904), С.Н. Южаков (1848–1910), П.Ф. Лилиенфельд (1829–1903) и А.И. Стронин (1826–1889). Однако самое непосредственное отношение к рождению социологии в России имел еще один человек, хотя он и жил уже в то время постоянно в Париже. Это был Г.П. Вырубов (1843–1913). В заметке на его смерть М.М. Ковалевский, хорошо его знавший, назвал его "учителем молодого поколения русских социологов"¹, а Евгений де Роберти, старый друг Вырубова, озаглавил свой некролог "Памяти духовного вождя" и писал о нем как об "умственном руководителе" русского социологического движения на первом его этапе². Эти высокие оценки были справедливыми. Дело в том, что именно Вырубову было суждено стать связующим звеном между французским позитивизмом и складывавшейся русской социологией. Вырубов после слушания лекций на медицинском и естественном отделениях Московского университета

покинул Россию в 1865 г. навсегда. Позднее в своих "Воспоминаниях" он указал как на мотив этого шага на желание целиком посвятить себя естествознанию и разработке научного метода. Он рано, еще в России, стал последователем контовского позитивизма и врагом метафизики. Впоследствии, в 90-е годы, он – признанный ученый-химик, президент Французского общества минералогии. Но в конце 60-х и в 70-е годы Г. Вырубов был деятелен и, несмотря на свою молодость, знаменит совсем в другой области, а именно – как один из самых энергичных и авторитетных (благодаря своим многочисленным работам) продолжателей контовской социологии. В 1867 г., через десять лет после смерти О. Канта, его ученик Эмиль Литтре (1801–1881) и Вырубов основывают журнал "La philosophie positive: Revue" ("Позитивная философия: Обозрение"), который сыграл огромную роль в интеллектуальной жизни Западной Европы. В нем оба они были полноправными главными редакторами-единомышленниками. После смерти Литтре Вырубов продолжал оставаться редактором журнала до 1884 г., когда издание его было прекращено, очевидно, в первую очередь потому, что к тому времени журнал выполнил свою задачу и его былое влияние и популярность упали. Программа журнала "Позитивная философия" была изложена еще до его основания в книгах Литтре и полемически сформулирована в предисловии к осуществленному им в 1864 г. полному изданию контовского "Cours de philosophie positive" ("Курс позитивной философии"): речь шла об определении позиций по отношению к двум конфликтующим между собой частям творческого наследия О. Канта. Первую из них Конт создавал в течение десятилетий. Это были шесть томов его "Курса позитивной философии", изданные в 1830–1842 гг. Вторая – его "Système de politique positive" ("Система позитивной политики"), четыре тома, вышедшие в свет в 1851–1854 г., и труд "Synthèse subjective", опубликованный за год до его смерти. Первая часть наследия О. Канта – это его классификация наук с социологией на вершине, обоснование строго объективного, освобожденного от метафизики и априоризма научного знания. Вторая часть – доказательство приоритета нравственности и моральных целевых установок в вопросах преобразования общества и в ориентирующейся на эту задачу социальном знании. К плану объективной, знающей лишь свой объект и метод его исследования социологии, Контом был, таким образом, присоединен вступающий с ним в противоречие проект "практической", этически ориентированной социологии. Коллизия между этими двумя частями контовского наследия стала в 60–70-е годы предметом широкой дискуссии, приняв сразу же характер обсуждения вопроса о дальнейших судьбах позитивизма. К началу 80-х годов эта дискуссия исчерпала себя: позитивизм утвердился в том его варианте, который был выдвинут Контом на первом этапе его творчества и, более того, был сформулирован в его последовательно крайних выражениях. Но в 60-е и 70-е годы спор о том, что такое истинный контизм и чем должен стать позитивизм – при учете противоречивости взглядов на этот счет самого его основателя, – имел центральное значение в интеллектуальной жизни Западной Европы, в особенности во Франции и в Англии.

Группа, объединившаяся вокруг журнала "Позитивная философия" и

создавшая в Париже первое в истории Социологическое общество, признала заслуживающей развития лишь контовскую концепцию объективной социологии и отвергла его позднейшее учение о социальном знании, руководствуясь нравственными, "субъективными", как писал сам О. Конт, установками. Аналогом группы Э. Литтре и Г. Вырубова были в Лондоне сподвижники Д. Льюиса (1817–1878), сотрудничавшие в его знаменитом и влиятельном в те времена журнале "Fortnightly Review".

Надо сказать, что в Западной Европе силы объективистов и их оппонентов были с самого начала неравными. На второй части наследия О. Конта настаивали во Франции главным образом консервативно настроенные интеллектуалисты (среди них было особенно много членов Французской Академии) и некоторые церковные публицисты. Лишь в 1872 г. им удалось – и то недолго – издавать свою маленькую газету, пропагандировавшую "Систему позитивной политики" О. Конта и контизм как "целое". Однако их политическая ретроградность и отсутствие среди них специалистов-естественноиспытателей и методологов науки заранее обрекали их планы на неуспех. В отличие от этого вокруг Э. Литтре и Г. Вырубова объединялась научная и либерально-республиканская молодежь.

Пожалуй, не было начинающего русского обществоведа, который, приезжая в Париж в 70-е годы, не знакомился бы там с Г. Вырубовым и Э. Литтре и не испытывал на себе их влияния. К ним принадлежал и Е. де Роберти.

Это относится и к М.М. Ковалевскому (1851–1916), который уже во время своего первого пребывания в Западной Европе (1872–1876) завязал дружеские отношения также и с Вырубовым и Литтре и встал решительно на их сторону в дискуссии с защитниками "контизма в целом". Однако литературное выражение эта позиция Ковалевского получила позднее. Его первые статьи в журнале "Позитивная философия" появились лишь в середине 70-х годов, его знаменитое – в духе социологического эволюционизма – исследование распада коллективного землевладения в швейцарском кантоне Ваад было опубликовано в Лондоне в 1876 г., принципы историко-сравнительного метода он впервые изложил в статье в "Юридическом Вестнике" в 1878 г. и, наконец, его фундаментальный труд "Общинное землевладение. Причины, ход и последствия его разложения", который по праву был воспринят тогда в России как манифестация историко-социологического объективизма, вышел в свет в Москве в 1879 г. Иными словами, творчество Ковалевского, также одного из основоположников русской социологии, относится уже к следующему этапу в ее развитии. То же самое следует сказать о Н.И. Карееве (1850–1931), систематизаторе и рационализаторе русского социологического субъективизма. Его программная и получившая большую известность статья в защиту субъективного направления ("О субъективизме в социологии") относится к 1886 г. Но нас сейчас интересует самый начальный момент в истории социологии в России, "момент ее рождения". И в этой связи не только Ковалевский и Кареев исключены из рассмотрения, но и внимание обращается в первую очередь на проблематику на переломе 60-х и 70-х годов.*

ПЕРВЫЕ ШАГИ РУССКОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЪЕКТИВИЗМА

Е. де Роберти, потомок обруseвших испанских грандов, учился вместе со своим одногодкой Г. Вырубовым в Александровском Лицее в Санкт-Петербурге. Университетское образование он получил за границей – в Гейдельберге, Гиссене и Йене, где в 1864 г. выдержал экзамен на доктора философии и защитил магистерскую диссертацию. Вернувшись в 1866 г. в Россию поклонником позитивизма О. Канта, Е. де Роберти, делает попытки включиться в общественную жизнь в качестве либерала и популяризатора контовской социологии. Но его главный проект – издание газеты "строго научного направления" – проваливается, и он пишет своему другу Г. Вырубову в Париж письма, полные отчаяния. В ответ на предложение Вырубова участвовать в только что созданном журнале "Позитивная философия" Е. де Роберти пишет для него несколько статей. Примечательно, что одной из них была рецензия на первый том "Капитала" К. Маркса, опубликованная в ноябрьско-декабрьском номере журнала за 1868 г. и тем самым явившаяся первым откликом на эту работу из России. Рецензия была резко отрицательной: де Роберти ставил автору в вину – и не без оснований – материалистически-распределительный, в противоположность нравственному, характер его социализма. Но еще раньше, в начале 1868 г., в журнале была опубликована большая статья де Роберти под названием "Политическая экономия и социальная наука"³. Она вошла затем в качестве главы в изданную им в России книгу "Политико-экономические этюды"⁴. В свою очередь значительная часть книги была перепечатана в том же 1869 г. в журнале "Позитивная философия" в виде двух статей⁵. Эти работы были дебютом двадцатипятилетнего де Роберти как социолога. Но не только. Они были также и одним из актов рождения русской социологии.

О чём шла в них речь? Оговоримся, что "архаичность" – на сегодняшний взгляд – их проблематики не должна заслонять от нас их актуального на том этапе развития социологии значения.

Первый вопрос, поставленный де Роберти, был: что такое общество как предмет социологии? Обсуждая его, де Роберти хотел на ошибках тогдашней политической экономии показать, какой в первую очередь не должна быть социология. Он справедливо указывал на то, что А. Смит и Д. Рикардо строили экономическую теорию на концепции индивида (как эгоистически-своекорыстного существа). Де Роберти усматривал в этом психологизацию политической экономии, что для него было свидетельством незрелости данной дисциплины. Примечательно, что он отвергал этот прием также и как недопустимое введение в политическую экономию метафизики. В противоположность этому, писал он, социология должна быть учением о законах общества как специфического целого. Эти законы, согласно де Роберти, самостоятельны по отношению к законам биологии и психологии и не выводимы из них. Общество, подчеркивал он, есть особое образование по сравнению с характеристиками составляющих его индивидов⁶. Это было своего рода холистское понимание общества как предмета социологии, развивающее в этом направлении

идей О. Конта и Г. Спенсера. Но нельзя не видеть, что оно было вместе с тем новаторским, ибо отвергало популярную и влиятельную в те времена контовскую иерархию основных наук, согласно которой каждая из них, включая и социологию, использует для построения своих законов – законы предыдущих. Биологизация социологии, которая следовала из этой схемы как у О. Конта, так и у Г. Спенсера, равно как и ее психология, с точки зрения де Роберти, были неправомерны.

Второй вопрос, поставленный в книге де Роберти, что такое социология как тип знания? Полемически его идеи на этот счет были направлены против Д.С. Милля, который считал, что отставание социально-политических наук объясняется неразвитостью в них метода дедукции. Для де Роберти все обстояло наоборот, и значительную часть книги он посвятил доказательству того, что социология по своей природе является и должна быть прежде всего индуктивной, "выводной" наукой, эмпирико-аналитическим образом устанавливающей свои законы. Он настаивал на том, что моделировать социологию по типу дедуктивного знания было бы по крайней мере "преждевременно"⁷, и эти его соображения были, несомненно, весьма актуальными для того времени. Названные работы принесли де Роберти известность в Париже. Уже в 1872 г. Французское социологическое общество, руководимое Э. Литтре, избрало его одним из своих (всего лишь двух) заграничных членов. Однако в России они оказались незамеченными, и это произошло прежде всего потому, что им не был присущ тот политически радикальный "критический дух", которым было пропитано в те годы сознание русской, в первую очередь, народнической и русско-социалистической интеллигенции. Действительно, де Роберти (подобно М. Ковалевскому и многим другим объективистам в русской социологии) был и оставался всю свою жизнь "классическим" представителем первого поколения русских либералов: он отождествлял прогресс общества с беспрепятственностью его стихийного эволюционного развития, а в политическом отношении и тогда, и позднее, когда стал в 1906 г. членом первой Государственной Думы, ориентировался на западные образцы конституционной демократии. Однако де Роберти не просто отправлялся от "Курса позитивной философии" О. Конта, предлагая отбросить его "Систему позитивной политики" и "Субъективный синтез". Он выступил в качестве одного из зачинателей так называемого второго позитивизма: вместе с Д. Льюисом и французскими радикальными позитивистами он обосновывал отказ от контовского агностицизма – от деления реальности на домены научного познания и метафизики. Он подвергал резкой критике распространенную тогда концепцию "воздержания науки" от вступления в область "пределных вопросов". Напротив, в отличие от них он считал необходимым "расколдовывание" метафизической проблематики и формулировал правило: в каждый исторический момент она изживается тем образом, что получает научную эмпирико-аналитическую интерпретацию. Он занял эту позицию достаточно рано – уже в опубликованных в России статьях "Мировоззрения крайнего Востока перед судом социологии" (1874) и "Наука и метафизика. Опыт новой постановки некоторых вопросов в области философии" (1875) – и благодаря их переводам и аналогичным публикациям во Франции уже

тогда стал одним из инициаторов той ревизии контовского позитивизма, которая привела к формированию так называемого гиперпозитивизма, а в конце XIX в. – неопозитивизма.

Поскольку критическое отношение Е. де Роберти к метафизике распространялось и на религиозно-церковную доктрину, его указанные выше работы были замечены русской цензурой. Печатанье второй части его статьи о "Мировоззрениях крайнего Востока" было запрещено, а за первую часть, равно как позднее и за статью "Наука и метафизика", журнал "Знание" получил от Министерства внутренних дел предупреждения. Позднее, в 1886 г., де Роберти подведет итоги своему гиперпозитивизму в незаслуженно забытой историками книге "Прошедшее философии: Опыт социологического исследования общих законов развития философской мысли", которую в России ждала судьба его предыдущих публикаций: она была запрещена к распространению, причем одновременно и цензурой и Святейшим Синодом.

РУССКИЕ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ "ЕДИНСТВА ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И СОЦИОЛОГИИ"

Вклад в объективную контовскую социологию – с прямыми ссылками на "Курс позитивной философии" – был представлен также в предпринятых в те же самые годы в России опытах по методологическому объединению естествознания и социальной науки. В 1869 г. в Санкт-Петербурге вышла в свет книга, которой было суждено стать объектом всеобщей и беспощадной критики. Никто не хвалил ее тогда, все только ругали. Это был труд "История и метод" А.И. Стронина (1826–1889). Эта книга была первой в России попыткой использовать естествознание для построения научного обществоведения. Второй такой попыткой стала вышедшая в 1872 г. под псевдонимом П... Л... фундаментальная работа П.Ф. Лилиенфельда (1829–1903) "Мысли о социальной науке будущего". Книга Лилиенфельда принадлежала к разряду социологического организма, принципы которого были заложены Г. Спенсером. Однако Лилиенфельд был среди тех, кто, отправляясь от Спенсера, создавал тогда социологический организм как самостоятельное и, кстати говоря, оказавшееся в течение длительного времени весьма влиятельным направление в социологии XIX в. Он был одним из его признанных основоположников: на немецкое издание его "Мыслей о социальной науке будущего" (1873) ссылались в дальнейшем все крупные представители этого направления в Западной Европе – А. Шеффле, А. Фулье, Ж.Б. Изуле, Р. Вормс.

Оценивая сегодня тогдашние опыты по соединению естествознания и социологии, мы вправе удивляться той легкости и безответственности, с которыми их авторы использовали понятия из области химии, физики, биологии и физиологии для характеристики структур общества. Однако за причудливой образностью их работ стояло несколько серьезных и весьма актуальных в то время идей. В трудах Стронина и Лилиенфельда они были выражены совершенно определенно.

Прежде всего это была идея безусловности законов, устанавливаемых

социологией. Стронин и Лилиенфельд были позитивистами в смысле Литтре и Вырубова. С их точки зрения, прогресс социальной науки находится в прямой зависимости от освобождения ее от всякой, в том числе и этической метафизики; социология должна формулировать законы, не зависящие от морально-психологической позиции исследователя, – безусловные законы. Но что может обеспечить успех в этом отношении? По мнению и того и другого гарантией тут является только одно – единство природного и социального миров и соответственно – необходимое единство естественного и социального знания. Стронин, отличавшийся необычайной и доходящей до нелепости последовательностью воззрений, полагал, что из принципа единства естественного и социального знания следует, что "сколько и каких есть вообще до сих пор законов у естествознания, столько же, говоря вообще, и таких же должно быть их и у обществознания. Стоит, значит, продолжал он, в таком случае только выследить, где именно и как они (законы естествознания. – Н.Н.) в последнем (в обществоведении. – Н.Н.) проявляются, и обществоведение сразу могло бы подняться на степень научности"⁸.

В труде Лилиенфельда также имел место голословный схематизм: экономическая жизнь – это для него физиология общества, система правовых институтов – морфология, правительство – нервная система и т.д. Но этот радикальный организм (подобно "аналогическому методу" Стронина), по мысли Лилиенфельда, освобождал социальное познание от метафизических и мировоззренческих влияний, – на это он не забывал специально указывать в своей работе как на одно из главных ее достоинств.

СУБЪЕКТИВНАЯ СОЦИОЛОГИЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК

Нетрудно заметить, что русский социологический объективизм с самого начала пошел в том же самом направлении, что и главное, наиболее влиятельное течение в западноевропейской постконтовской социологии, – в сторону ужесточения принципа идеологически-мировоззренческой нейтральности. Теоретические вклады, которые при этом делались первыми русскими социологами, – большинство их, разумеется, с ходом времени обнаруживало свою историческую релятивность, – лежали в границах этой генеральной парадигмы. Поэтому русский социологический объективизм имел все основания не отличать себя от доминировавшего и позитивистского "образцового" в тогдашней Западной Европе типа обществоведения. Совершенно иным было отношение в те же самые годы сложившейся русской субъективной школы к западной социологии.

В том же 1868 г., в котором в парижском журнале "Позитивная философия" появились статьи де Роберти, а сам он заканчивал свою первую книгу, в Санкт-Петербурге в журнале "Неделя" были опубликованы "Исторические письма", а в журнале "Современное обозрение" – статья "Задачи позитивизма и их решение" П.Л. Лаврова. Как известно, в этих двух работах были изложены основы второго, наряду с объективизмом,

влиятельнейшего в России типа социологического мышления. Основополагающими в этом отношении были также статьи Н.К. Михайловского 1869 г. в "Отечественных записках": "Что такое прогресс?" и "Аналогический метод в общественных науках"

Свою программу Лавров и Михайловский назвали субъективным методом в социологии. В 1874 г. в ответ на критику С. Южакова П. Лавров кратко, но систематически изложил свою концепцию в статье "О методе в социологии" ("Знание", 1874, январь). Также отвечая на замечания С. Южакова, Н. Михайловский в статье "Записки профана" ("Отечественные записки", 1875, январь) сделал ряд уточнений субъективного метода и в том же году в статье "Борьба за индивидуальность" ("Отечественные записки", 1875) еще раз обратился к его обоснованию. К середине 70-х годов концепция субъективного метода полностью сложилась, приобретя широкий круг последователей.

Ни Лавров, ни Михайловский не использовали словосочетания "субъективная социология". Это выражение, при малограмотном его восприятии вызывающее ассоциацию с "субъективистской социологией", применялось к их концепции в первую очередь ее критиками и при этом в сугубо уничтожительном смысле. Однако та социология, основы которой заложили эти два выдающихся методолога, может с полным правом называться субъективной социологией, разумеется, при правильном понимании смысла слова "субъективная", т.е. в соответствии с тем, как они сами его понимали. Чаще всего вопрос о концептуальном источнике субъективного метода Лаврова и Михайловского попросту обходится как в зарубежной, так и в отечественной литературе. Он изображается в качестве некоей "самоделки", "исконно русского изобретения", идея которого свалилась в головы его создателей буквально "с потолка". Или же субъективная социология выводится как нечто сугубо производное из специфики политico-культурной сцены в России того времени. Разумеется, для этого суждения есть основания. Верно, что модель социологии, предложенная Лавровым и Михайловским, была с энтузиазмом воспринята и принята народническим и русско-социалистическим лагерями по той причине, что отвечала их мировоззренческому складу. Верно и то, что сами Лавров и Михайловский, создавая субъективный метод, совершенно недвусмысленно преследовали цель – "приобрести" социологию для народнической и русско-социалистической оппозиции. И их социология действительно стала народнической в том смысле, в каком пошедшая по пути, намеченном де Роберти и М.М. Ковалевским, объективная русская социология была, во всяком случае до начала XX в., преимущественно социологией русских либералов.

Однако при всем этом существовал совершенно определенный исторический концептуальный контекст, в границах которого Лавров – первым из русских – выдвинул субъективный метод на роль конституирующего принципа социологии. Он отправлялся при этом от все той же дискуссии конца 60 – начала 70-х годов во Франции и Англии вокруг творческого наследия Конта. И сам термин "субъективный метод" взят им из работ позднего Конта и из материалов этой дискуссии. Лишь учет этого обстоятельства позволяет понять его исходный смысл, а также те ново-

введения, которые Лавров внес в его контовское содержание. Он не "придумал" и не "выдумал" субъективную социологию. Он – и так всегда бывает в случаях науки – исходил из сложившегося к тому времени проблемного поля нового вида знания и из ведущейся в нем центральной дискуссии. В этой связи необходимо более внимательно, чем это обычно делается, проанализировать отношение Лаврова к системе Конта. Лавров, успешный преподаватель математики в военных академиях и училищах Санкт-Петербурга, офицер (полковник) и одновременно философ-соалист и член подпольной народнической организации, был в 1866 г. арестован за участие в ней, судим и выслан в Вологодскую губернию. Там, в ссылке, он почти одновременно написал свои "Исторические письма" и статью "Задачи позитивизма и их решение", которая представляла собой своего рода критическую "рецензию на позитивизм" в связи с выходом в свет в 1867 г. на русском языке книги, составленной из отрывков работ Д. Льюиса и Д.С. Милля и озаглавленной "Огюст Конт и положительная философия". Лавров, как и Михайловский, всегда и самым высоким образом оценивал вклад Конта в интеллектуальную и научную жизнь и атмосферу того времени. Вслед за Контом Лавров и Михайловский отвергали метафизику и априоризм и в доказательстве их несостоятельности видели величайшую заслугу французского мыслителя. Но при всем этом их отношение к контовскому позитивизму было далеко от безоговорочной преданности адептов. В особенности у Лаврова – гораздо ярче в литературном отношении, чем у Михайловского, – была проведена линия на его реформирование. Лавров намеревался достичь этого с помощью введения в позитивизм философии, а точнее – новой философии и решения на этом пути задач, не решенных, но, как он писал, "совершенно правильно поставленных позитивизмом"⁹. Лавров указывал, какую философию он при этом имел в виду. С этой целью он в самом конце "Задач позитивизма" сослался на "построения" Л. Фейербаха и П. Прудона, т.е. на материализм и тогдашний социализм, намекнув, что подобные течения мысли "могло найти и в других местах, даже в не-общирной русской философской литературе"¹⁰. В "Исторических письмах" он, впрочем, уже сделал смысл этого намека совершенно ясным. Там он уделил много места обоснованию того, что знания и нравственность "критически-мыслящего меньшинства" являются единственно заслуживающими внимания и должны быть ориентиром для "большинства"¹¹. Это была народническая и русско-социалистическая позиция, а вернее говоря, Лавров первым сформулировал, развел и поднял это групповое настроение до уровня мировоззрения. Оно давало не только радикальной, но и умеренно-прогрессистской части русской интеллигенции право на "нравственный суд" над российской историей и системой. И известно, что прежде всего эта идея "Исторических писем" принесла книге широкое признание в русской образованной среде. Книга стала своего рода кредо народничества и русского социализма на ближайшие два десятилетия.

Имела ли эта героически-патетическая идея Лаврова какое-либо отношение к вспыхнувшей в эти же годы в Париже дискуссии по поводу двух частей контовского творческого наследия? Да, и притом самое непосредственное. Дело¹² в том, что Лаврова, познакомившегося с работами

Конта еще во второй половине 50-х годов, уже тогда и в дальнейшем не удовлетворяло то, что он впоследствии назвал "нежизненностью" контовского позитивизма. В основе этой инвективы, сформулированной им в "Задачах позитивизма", лежало простое и вполне понятное соображение: в методологическом отношении контовский "Курс позитивной философии" требовал от научного социального познания его уподобления познанию естествоиспытателем природы. Но между обществом и природой существует грандиозная разница, справедливо считал Лавров. Объекты природы не обладают ничем из того, чем обладает главный деятель в обществе – человек: ни волей, ни страстью, ни нравственностью. Поэтому распространение духа естествознания на познание общества и человека лишает последних самой их сути, "омертвляет" их, снижает до уровня механических систем. В отличие от этого, считал П. Лавров, чтобы научным образом понять человеческое (жизнь), следует обратиться к нему со специфически "человеческими" средствами познания, которые не пригодны для исследования природы и не могут быть использованы естествознанием. Это – прежде всего такой кумулирующий в себе все остальные компоненты жизненного опыта человека инструмент, как нравственная оценка.

Таково было исходное убеждение Лаврова, сложившееся у него в результате знакомства с контовским позитивизмом. И когда в конце 60-х годов, уже в ссылке, ему стало известно, что в Париже не просто развернулась борьба вокруг двух "составных частей" творческого наследия Конта (о противоречии между которыми он, конечно же, знал и раньше), то что в ней побеждают сторонники деэтизированной, безоценочной социологии (Э. Литтрэ, Г. Вырубов и их группа), то он прямым образом в "Задачах позитивизма" заявил, что его симпатии на стороне "субъективного метода" как принципа, сформулированного О. Контом в "Системе позитивной политики". Он при этом откращивался от далеких от науки политических и интеллектуальных консерваторов, сторонников "Конта в целом". Он также подвергал резкой критике иерархию нравственно-религиозных норм, которую сам О. Конт предложил в качестве ориентира для социально-реформаторской социологии. Более того, он даже писал, что личная экстравагантность Конта в последние годы его жизни вообще вызывала сомнения в его способности морального суждения. Но несмотря на все это, итоги Лавров подводил следующим образом: "Огюст Конт почувствовал, по-видимому, что жизнь не может быть выкинута из мышления и что позитивное мышление должно построить ее так, как она есть в ее особенности. Отсюда возник и субъективный метод, употребленный им для позитивной политики, метод, против которого так восстали его вернейшие ученики... Собственно, Конт был прав в этом случае. Не мысль о субъективном методе была неверна, а прием Конта – личное настроение, им внесенное в эту область своего мышления. Как во всех недостатках его системы, и тут виновата не система, а сам человек"¹².

Так сам Лавров прямо и недвусмысленно указывал на источник своего субъективного метода: им была "вторая часть" наследия Конта. Сложнее обстояли дела с Михайловским. Он никогда не занимался столь детально

Контом, как Лавров, и вообще не считал необходимым связывать развитие мысли в России с западной мыслью. Но он, несомненно, был осведомлен о дискуссии во Франции и был подготовлен к восприятию идей, высказанных Лавровым, собственным интеллектуальным развитием. Программа "нравственного суда" над историей и обществом была, можно сказать, выстрадана им совершенно самостоятельно. Так что понятие субъективного метода, использованное Лавровым, пришлось ему по душе. Во всяком случае та легкость, с которой Михайловский уже в 1869 г. использовал этот непривычный и новый для русского мышления термин, свидетельствует о его "обжитости" самим Михайловским и о том, что они с Лавровым были в полном смысле слова единомышленниками. Примечательно, что и противник, с которым они постоянно полемизировали, был одним и тем же. Это была объективная социология.

Первая крупная статья Михайловского ("Что такое прогресс?") была посвящена критике Г. Спенсера (в связи с выходом в свет собрания его сочинений на русском языке), а вторая – разгрому примитивного в своем объективизме "аналогического метода" А.И. Стронина. В свою очередь Лавров, бежавший в 1870 г. из ссылки в Западную Европу и обосновавшийся затем в Париже (больше он уже никогда не бывал в России, став эмигрантом на всю свою дальнейшую жизнь), оказался непосредственным наблюдателем борьбы между западноевропейскими объективистами и субъективистами и в свою очередь решительно занялся критикой первых. Не следует забывать, что все произведения Лаврова после 1870 г. были написаны им уже за границей: оттуда пришли в Россию его ответ критику "Исторических писем" С. Южакову и, наконец, в 1874 г. его выдающаяся работа "О методе в социологии". Не только наличие его русских идейных противников и отмечаемый им сожалением факт, что "между русскими социологами немало объективистов чистой крови"¹³, побуждали его к печатным выступлениям в России в защиту субъективного метода. Оказавшись в Западной Европе, он вочию видел там победное шествие философского и социологического объективизма. Лавров порицал этот процесс, и в первую очередь в группе Литтре и Вырубова и их журнале "Позитивная философия" видел врага, способного подтолкнуть русскую социологию на неверный путь. Он считал своей обязанностью предупреждать из-за границы читателей и обществоведов в России об опасностях объективизма. Этому служили, например, его получившая большую известность статья "Социологи-позитивисты" (1872), в которой он совершенно необоснованно изображал группу Литтре и Вырубова как собрание политически индифферентных говорунов, а также его презрительные рецензии на работы тех русских обществоведов, которые с этой группой были связаны. В особенности нетерпим был Лавров к публикациям де Роберти. Надо сказать, что и Михайловский тоже не упускал случая выразить отрицательное отношение к русским авторам, близким к этой группе.

УНИВЕРСАЛИЗАЦИЯ СУБЪЕКТИВНОГО МЕТОДА О. КОНТА

В статье "Социологи-позитивисты" П.Л. Лавров, имея в виду заседания Французского социологического общества под руководством Э. Литтре, воскликнул: "Еще Франция взволнована отголосками кровавой борьбы из-за целей общества (имеется в виду гражданская война во Франции в 1871 г. – Н.Н.), а тут собираются мыслители, которые по своему основному догмату отказываются от самого рассмотрения общественных целей – предмета неизбежно субъективного"¹⁴. Уже это замечание говорило о том, что Лавров – строго вслед за О. Контом – относил к онтологически субъективному фактору прежде всего индивидуальное и групповое целеполагание. Однако в отличие от Конта он этим не ограничивался. И в "Исторических письмах", и в "Задачах позитивизма", и в "О методе в социологии" он распространил понятие "субъективность" фактически на все и всякие индивидуальные, коллективные и институциональные действия и отношения. Общество, в социологической визии Лаврова, все в нем – это продукт и формы функционирования субъективного – человеческих воль, эмоций, целеустановок, регулируемых в конечном счете этическими нормами. Последние в отличие от законов "механических и биологических систем, общезначимых в своей "внечеловечности", сохраняют свою силу лишь постольку, поскольку они содержатся в сознании каждого индивидуального человека.

Смысл понятия "субъективность", как его использовал Лавров, можно, таким образом, выразить с помощью указания на то, что это – все то, что индивидуально-личностно. Этот смысл, кстати говоря, полностью отвечает семантике французского слова "subjective", и именно в этом его значении оно использовалось Контом и муссировалось в западноевропейских дискуссиях того времени. Однако операциональный объем этого понятия у Лаврова оказался гораздо более широким, чем у Конта, ибо, согласно Лаврову, не только практически ориентированное, но и теоретическое познание общества имеет дело со сгустками индивидуально-личностного как со своим объектом.

Каким образом исследователь может упорядочить (познать) данную ему в виде общества онтологическую субъективность? Лавров многократно отвечал в своих работах на этот вопрос и всегда одинаково: субъективное исследуемо лишь субъективно, индивидуально-личностное познаемо лишь индивидуально-личностным образом. Этот постулат имел центральное значение в концепции Лаврова. Он свидетельствовал о том, что применительно к познанию общества Лавров не только не разграничивал исследовательского и обыденного сознаний, но, напротив, отождествлял их. Во всяком случае в самом первом, исходном пласте его концепции это имело место: говоря о специфических средствах социологического познания, он писал, что ученого они в принципе таковы же, что и у всякого жителя Земли, ибо "исследователь – сам человек и не может ни на мгновение выделиться из процессов для него (как для человека. – Н.Н.) характеристических"¹⁵. Развивая свою концепцию, Лавров сделал в этом пункте ряд существенных уточнений, и о них будет

говориться ниже, а сейчас следует обратить внимание на самые ближайшие последствия применения им этого принципа. К ним относится выдвижение им на роль способа исследования субъективного мира – оценки и оценивания. Лавров вполне резонно видел в оценивании фундаментальную клеточку, первейший и исходный параметр социальной реальности (отношения между людьми, их поведения, участия в институциональной практике и т.д.). И для него этот факт был прямым указанием на то, что и социологу оценивание должно служить в качестве метода познания: "субъективное познается лишь человеческим образом"

В понимании природы субъективности взгляды П.Л. Лаврова и Н.К. Михайловского совпадали. И учет указанного смысла, в который они вкладывали в это понятие, делает очевидной беспочвенность предъявлявшихся и все еще предъявляемых им обвинений в "субъективизме". Под "субъективной оценкой", "субъективным взглядом", "субъективным подходом", "субъективным методом" Лавров и Михайловский подразумевали вовсе не исследовательский произвол. Они лишь полагали, что, имея дело с человеком, обществом и историей, исследователь – если он хочет изучить эту специфическую "материю" – должен выступить не как безличная "познающая машина" (объективист), а как субъект, т.е. индивидуально-личностным образом. Никакого обоснования хаоса мировоззренческих предпочтений и исследовательского произвола их концепция не имела в виду.

Родственными контовским были и представления Лаврова о том, что высшим видом оценки является нравственная. Субъективный метод понимался им в конечном счете как доминирование в социологическом исследовании "нравственного взгляда". Он писал, что социологический анализ предполагает "особую субъективную классификацию побуждений, целей и действий как нравственно лучших и худших", – добавляя тут же во избежание недоразумений, – что и "сама эта классификация неизбежно субъективна, потому что сознание нравственно лучшего и худшего доступно только отдельной личности"¹⁶. Этанизация социологического познания – вот к чему стремился Лавров и необходимость чего он обосновывал в противоположность модели оценочной и моральной нейтральности у социологов-объективистов. Он при этом нисколько – и совершенно справедливо – не сомневался в своем праве на оценку социально-исторической действительности с позиций русского "критически мыслящего меньшинства". Ведь и Конт в своей "Системе позитивной политики", исходя из своих мировоззренческих посылок, построил систему религиозно-нравственных императивов для социально-практически ориентированного обществоведения. Лавров, отвергая ценности Канта и ориентируясь на свои собственные, в отличие от него считал необходимой этизацию не только "практической", но и теоретической и всякой другой социологии. Но, пожалуй, этой универсализацией субъективного метода Канта все же и ограничился бы вклад Лаврова в историю социологии, причем, в нем не было бы методологически ничего оригинального, ибо такого рода предложения были в те времена расхожими в среде противников провозглашающего свою мировоззренческую и моральную нейтральность гиперпозитивизма,

если бы сложная и многогранная концепция Лаврова не была построена пластами. И уже следующий ее пласт вообще и самым решительным образом выходил за пределы раннего постконтовского социологического мышления.

ПРОЕКТ "НАУЧНОЙ ИДЕОЛОГИИ"

Ответы П.Л. Лаврова его критикам свидетельствовали о полном неприятии им их замечаний: он не видел для них оснований. Этим объясняется, в частности, раздраженно-удивленный тон его ответа С. Южакову в статье "О методе в социологии" (1874). Во-первых, он трактовал субъективность социологического познания вовсе не в смысле исследовательского произвола. А во-вторых, он и в "Исторических письмах", и в "Задачах позитивизма" настаивал на возможности и необходимости научного оценивания. Это был тот пункт, в котором его концепция принципиальным образом отличалась от контизма в обоих его – объективном и субъективном – вариантах. Для О. Канта и его последователей синонимом научной социологии была только объективная социология. В том числе и контисты-субъективисты никогда не относили использование ценностей в практически ориентированном обществоведении к социальной науке. Уже тогда было принято разделять и отделять друг от друга общенациональный, как тогда говорили, метод и морально мировоззренческое оценивание. В отличие от этого Лавров, распространивший прерогативы оценивания на всю социально-историческую проблематику, не видел в нем противоположности научному подходу. Напротив, он стремился определить параметры своего субъективного метода как научного, т.е. продуктирующего общезначимые результаты. Для тех десятилетий, когда общезначимость итогов исследования понималась исключительно в качестве следствия его "вне- и надличностного" характера, намерение Лаврова было новаторским. Он излагал эту программу многократно; в "Исторических письмах" и "Задачах позитивизма" ей посвящены многие десятки страниц. Все они, в частности, полемически направлены как против Канта, считавшего субъективный метод несовместимым с наукой, так и против гиперпозитивистов, отвергавших именно по этой причине право субъективного метода на существование.

Лавров возразил всем им тем образом, что выдвинул понятие "научно обоснованной оценки", "научного идеала" и в конечном счете "научно обоснованной нравственности". Он доказывал возможность существования этих феноменов. Контовскую иерархию ценностей он относил к разряду "ненаучных". Но в "новой философии" – в мировоззрении "критически мыслящего меньшинства" – он видел резервуар, из которого могут и должны быть почерпнуты "научно-содержательные" ценности. В итоге понятие "научно обоснованной иерархии ценностей" стало одним из главных в его концепции субъективного метода. С его помощью Лавров хотел гарантировать общезначимость результатов его применения: ведь если все социологи будут пропускать действительность сквозь одну и ту

же – "научно обоснованную" – сетку ценностей, то, разумеется, итоги познания каждого будут общезначимыми для всех них. Что же касается "большинства", т.е. не производителей, а потребителей социологического знания, то им Лавров – вполне в революционно-элитарном духе – не оставлял никакой иной возможности, кроме веры "умственно развитому меньшинству" А вернее даже – веры "еще меньшему меньшинству, развившему в себе сознание нравственного убеждения, обязательность его категорий высшего и низшего", как он писал в статье "О методе в социологии"¹⁷ Круг, таким образом, замыкался: метод познания социальной реальности с помощью ее оценивания, субъективный метод, давал общезначимые результаты и потому был научным и уж никак не содержал в себе никакого произвола и субъективизма. Эта схема была совершенно четко изложена в работах Лаврова, и то, что она оставалась не замеченной (или почти не замеченной) его критиками, вызывало у него законное недоумение.

Беда заключалась, однако, в том, что "научно обоснованная оценка", "научный идеал" и "научно обоснованная нравственность", к которым апеллировал Лавров, – это всего лишь фантазмы, нечто вроде "сухой воды" или "горячего снега" Наука и оценка (мораль), наука и идеалы (мировоззрение, идеология) – это принципиально разные типы реальности человеческого сознания. Их можно пытаться объединять, их можно механически "перемешивать", стараясь подменить одно другим, но от этого одним и тем же они стать не могут. Лавров же считал, что в русле его субъективного метода они именно сливаются воедино. Это было недоразумение. И оно привело к тому, что он стал первым в России проповедником "научной идеологии", еще задолго до того, как русские марксисты включили в свой арсенал этот псевдоконцепт. Лавров, бывший психологически и морально революционером, почти всю жизнь делавший ставку на революцию в России и в Западной Европе и намеревавшийся служить ей своей социологией, пожалуй, первым в России понял, что без придания (а в действительности приписывания) революционной идеологии "научного характера" она похожа на безногого великанна. Лавров не додумался до понятия "научная идеология" и трудно было бы от него этого ожидать. Но, подобно учению К. Маркса, в котором идеал коммунизма изображался в качестве научно постигнутой истины о человеческом мире, концепция П. Лаврова содержала в себе отождествление идеалов народнического и русско-социалистического "критического меньшинства" с мнимыми "выводами науки" Схемы, в рамках которых двигалась мысль Маркса и Лаврова, были изоморфными, и Лаврова можно без преувеличения назвать своего рода "русским Марксом" В первую очередь именно он своими влиятельнейшими работами 70-х годов утвердил народнический и русско-социалистический лагерь в убеждении, что разделляемые этим лагерем идеалы и ценности имеют смысл истин. Когда в 90-е годы прибывший из Западной Европы в Россию марксизм стал увлекать левую русскую интеллигенцию, она уже была подготовлена – и во многом благодаря Лаврову – к очередному самообману: к отождествлению идеалов и ценностей марксизма с наукой.

Однако в интересующей нас связи первостепенное значение имеет то,

что Лавров при этом говорил от имени социологии и его целью было определение познавательных контуров этой новой науки. И в контексте тогдашнего ее (в том числе и в Западной Европе) состояния программа "нравственно научной" социологии Лаврова была оригинальнейшим проектом. Лишь учитывая обрисованное выше содержание центральной в те годы дискуссии вокруг творческого наследия Конта, можно отдать должное научной смелости, решительности и самостоятельности Лаврова, когда он формулировал парадигму социологии следующим образом: "В научном построении отвлеченная социология сводится на теорию справедливого общежития, по самой сущности дела опирающуюся в значительной степени на субъективные категории этики"¹⁸. Это определение во всех его элементах выходило за пределы субъективного метода позднего Конта, не говоря уж о том, что оно решительным образом вступало в противоречие с набирающим силу социологическим гиперпозитивизмом. И к Лавровской парадигме – независимо от имплицированной в ней химеры "научной идеологии" – историк социологии должен отнести со всей серьезностью. В чистом и буквальном виде (тождество оценочного, нравственного и научного подходов) эта парадигма в социологическом исследовании, разумеется, не осуществима. Но не следует забывать, что в чистом и буквальном виде не реализуема также и парадигма объективной социологии – "свобода научного подхода от оценок"

"ПРАВДА-ИСТИНА" И "ПРАВДА-СПРАВЕДЛИВОСТЬ"

Н.К. Михайловский, единомышленник П.Л. Лаврова в вопросе о субъективности социологического познания, формулу субъективного метода строил иначе. Проблема сведения воедино истины науки и нравственной оценки, которой уделял столь много внимания Лавров, его не занимала. Он с самого начала проводил резкую грань между выводами науки и справедливостью, законом и телеологией, научным познанием и моральным оцениванием. По его словам, "истина есть удовлетворение только познавательной потребности человека, и думать, что она способна удовлетворить все потребности, так же неосновательно, как думать, что мозг способен исполнить все направления животного организма"¹⁹. Кроме потребности в истине, продолжал он, у человека есть еще потребность в "полезном и справедливом", и эти два ряда установок принадлежат разным мирам в сознании человека. Исследователь-социолог – тоже человек. Михайловский подчеркивал это не менее тщательно, чем Лавров. И специфика социологического познания, по Михайловскому, заключается в том, что в этом случае ученый подвигается в первую очередь потребностью "не истинного, а полезного и справедливого"²⁰, интересом не к законам сущего, а к его соответствию или противоречию идеалам. При этом Михайловский не считал, что идеалы должны или могут быть обоснованы научным образом, что оценка должна совпадать с научной истиной, т.е. не совершал той кардинальной ошибки, которой был подвержен Лавров. Учет этого обстоятельства необходим для понимания индивидуальных особенностей русской субъективной социологии, пред-

ставленных в трудах ее основателей. Но не только: без этого не обойтись и при анализе дальнейшего разнообразия и, можно сказать, разнобоя во взглядах их последователей в конце XIX – начале XX в.

Проводя жесткую границу между научной истиной и оценкой, Михайловский следовал не логике гиперпозитивизма, в котором он, подобно Лаврову, видел своего теоретического врага. Он опирался при этом на другое, только начавшее складываться и в те времена "модернистское" интеллектуальное течение. Я имею в виду неокантианство. Известно, что на Михайловского большое влияние оказали работы одного из первых неокантианцев А. Ланге и что он знал знаменитую книгу О. Либмана "Кант и эпигоны" (1865). Центральной идеей этих авторов было утверждение внеопытного происхождения идеалов и моральных ценностей; в отличие от этого истины науки понимались ими как итоги эмпирического и теоретического познания. Михайловский в своих эпистемологических рассуждениях шел именно этим путем. Однако тем не менее – и в этом, очевидно, сказался его здравый смысл социолога-исследователя – он хотел и объективному анализу дать возможность участвовать в субъективном подходе. В отличие от Лаврова он рассчитывал при этом не на якобы возможное тождество истины и оценки, а предлагал их складывание, одновременное использование. Он писал: "Социолог должен прямо сказать: желаю познавать отношения, существующие между обществом и его членами, но кроме познания я желаю еще осуществления таких-то и таких-то моих идеалов, посильное оправдание которых при сем прилагаю"²¹.

Михайловский считал, что в социологическом и историческом познании индивидуально-личностные (субъктивные) оценки и выводы объективного анализа настолько переплетены, что результатом его может быть лишь тот специфический итог, который он называл "правдой". Это понятие, нередко воспринимаемое историками русской социологии в качестве образца "морализирования" со стороны Михайловского, на самом деле было у него продуманным результатом вполне профессиональной для тех времен методологической рефлексии. Ведь он был обязан терминологически определить центральный для его теории концепт – смесь из объективных истин и субъективных ценностей. Русский язык (в отличие, скажем, от английского, французского или немецкого) давал ему эту счастливую возможность через слово "правда". И он, опять же в ходе методологического рассуждения, а не в силу эмоционального каприза, и в духе своей концепции различал два вида "правды": ту, в составе которой доминирует объективно-научный познавательный акт (он называл ее "правдой-истиной") и ту, основу которой составляет нравственно-мировоззренческое оценивание (он называл ее "правдой-справедливостью"). В этом же плане Михайловский нередко проводил различие между "социологией как наукой" и "социологией как учением об обществе". Однако при этом он уже в одной из первых своих работ, в статье "Что такое прогресс?", устанавливал, что в социологии "высший контроль должен принадлежать субъективному методу" и что в конечном счете "социология принуждена иметь дело с категориями нравственного и безнравственного, которые стоят совершенно независимо от категорий

истинного и ложного"²². Субъективный метод обрисовывался им, таким образом, как преимущественное использование нравственно-мировоззренческого оценивания, подчиняющего себе вполне легитимные в методологическом отношении акты объективного познания. Эта формула существенным образом отличалась от лавровского "тождества" высшей нравственной оценки и истины науки. Парадигма социологии у Михайловского была более операциональной, открывала возможность ее применения в исследовательской практике, потому что была основана на компромиссе между объективным и субъективным подходами.

Не случайно, что Михайловский сделал в обществоведение вклады и как субъективный, и как объективно-ориентированный социолог. Во всяком случае эти две его роли довольно четко обнаруживают себя в его творчестве. Он иногда вообще уклонялся от использования субъективного метода. Так без прямого обращения к мировоззренческому оцениванию им была разработана концепция взаимодействия лидера ("героя") и массы ("толпы"). В ее рамках он в 80-е годы одним из первых поставил вопрос о социально-психологических механизмах власти и подчинения в обществе, – проблему, которая стала затем одной из центральных в мировой социологии. К важнейшим его достижениям относится также новаторское для того времени учение о "двух типах социальной связи" ("двух типах общежития" – "простой" и "сложной кооперации"), которое, можно сказать, представляло собой практическую реализацию его методологической программы "правды": в нем были теснейшим образом переплетены аналитические историко-социологические наблюдения распада традиционного (родового, общинного) типа общества и оценка этого процесса с народнической позиции как социально-исторической трагедии. Кстати говоря, содержательные достоинства этого учения Михайловского были во многом продуцированы именно силой его мировоззренческой и существенно консервативной в данном ее измерении установки, подобно тому, как в аналогичном и чуть позже созданном Ф. Тённисом учении о "сообществе" и "обществе" такую роль сыграло ламентирующее по поводу уходящего в прошлое "сообщество" признание неизбежной реальности "общества", а концепция Э. Дюркгейма о "механической" и "органической" солидарностях была пронизана прогрессистским идеологическим духом, утверждавшим ценности общественного разделения труда и индустриальной цивилизации.

Но в то же время в работах Михайловского можно найти немало случаев, когда он ориентировался исключительно на "справедливость". Тогда он осуществлял совершенно поразительное по грубости проектирование своего идеала в теоретический образ социальной реальности. Он делал это сознательно и даже можно сказать вызывающим образом. Так, критикуя социологический органицизм, он настаивал на том, что модель общества по типу органической системы неприемлема с моральной точки зрения, ибо означает "принижение" личности, и потому неверна в научном отношении. По этой причине он отвергал спенсеровское понятие прогресса (рост дифференциации функций элементов системы). Обсуждая центральный процесс в России того времени – развитие капитализма, – Михайловский, несомненно, видел, что он – налицо. Но,

как народник и русский социалист, он не хотел, чтобы так было. Разумеется, на такую позицию он имел моральное право. Однако он при этом с упорством повторял: социологическая концепция русского общества не должна отправляться от этого социально-исторического факта, а обязана быть учением о сохранении общины и крестьянской семьи. Если учесть в своем роде классическую формулу Лаврова: "отвлеченная социология сводится на теорию справедливого общества", – то можно сказать, что в указанных выше случаях Михайловский следовал ей самым аподиктическим образом.

ПРИНЦИП: СВОБОДА

Каждый, кто даже поверхностно знаком с работами П.Л. Лаврова и Н.К. Михайловского, знает, что, говоря о "субъективном взгляде", "субъективной оценке", "субъективном методе", они считали их применение в социальных науках не только необходимым, но и неизбежным. Это слово повторялось ими с той же частотой и убежденностью, что и предписания насчет субъективной социологии. И оно – ключ к пониманию главного и фундаментального наблюдения, сделанного ими как методологами: акт научного познания социальной и исторической реальности всегда и при всех условиях содержит в себе оценку, без оценивания не осуществляется и осуществляться не может. В этой констатации Лавров и Михайловский были безусловно правы. Невозможно указать ни одну научно оформленную идею, концепцию или теорию, которая была бы свободна от мировоззренческих и моральных установок ее автора. Таких ни в исторической, ни в социальной науке и в том числе в социологии просто не существует. Как, в какой форме и с какой степенью интенсивности оценка присутствует в акте научного социального познания – это другое дело. Но она всегда там есть и всегда участвует как в проблемно-постановочной части исследования, так и в его результатах. Этим, в частности, объясняется невозможность открытия социальной и исторической науками так называемых объективных законов: такого рода предприятие наталкивается, во-первых, на характер самого социума, конституирующими моментом которого являются воля и индивидуальные решения людей, превращающие его в постоянно поливариантную (в отличие от моновариантности природы) реальность, а во-вторых, – на элемент оценивания в ходе социального и исторического познания. "Объективные законы общества и его развития" – это всегда лишь переформулирования, инновыражения идеалов, мировоззренческих установок и ценностных позиций исследователей. Об иллюзорности "объективных законов" истории и общества постоянно напоминала и в конце XIX и на протяжении всего XX в. методологическая критика, сначала в лице неокантианства, затем – социологии познания и, наконец, рефлектирующих теоретиков социальной науки²³. То, что в акте социологического познания совмещено объективное наблюдение и оценивание и что иначе и быть не может, – это на сегодня банальная истинка. Но это – на сегодня. А в те времена (конец 60 – начало 70-х годов XIX в.), когда Лавров и Ми-

хайловский создавали свою субъективную социологию, дело обстояло совершенно иначе. Тогда доминировавший в научном сознании в Западной Европе гиперпозитивизм постулировал, казалось бы, несомненную императивность "безоценочного", "чисто объективного" подхода. Не о конвенциональном, процедурно-тактическом редуцировании мировоззренческого, ценностного элемента в социальном исследовании (что стало обсуждаться позднее, во времена М. Вебера) вели тогда речь гиперпозитивисты, а о его радикальном "недопущении". Социолог, с их точки зрения, должен был быть производителем абсолютно объективных истин, как это имеет место в естествознании; а его познавательной деятельности уже не оставалось бы ничего от "человеческого", от индивидуально-личностного и морально-психологического. Эта программа, разумеется, была всего лишь сайентистской утопией. И Лавров и Михайловский первыми в европейской социологии подвергли ее принципиальной критике. Но не только: они первыми на отрефлектированном методологическом уровне зафиксировали неотъемлемость оценки от акта научного познания и обществоведения и в том числе – в складывавшейся тогда социологии. Иными словами, их главная заслуга заключалась именно в том, за что их порицали и сейчас еще нередко порицают, в создании субъективной социологии.

Лавров и Михайловский, оба они, признавали модель ученого-объективиста подходящей для естествоиспытателя и отвергали ее применимость в труде социолога. Они же – и тоже первыми – наметили то методологическое различие между типами естественно- и социально-научного познания, которое позже было эпистемологически определено как различие между "объяснением" и "пониманием". В этой связи они постоянно подчеркивали, что их субъективный метод включает вживление исследователя в изучаемый объект, "слияние" с ним, т.е. проникновение в мир чувства и мотивов людей с помощью обнаружения их родства с собственными или постановки себя на их место: "наблюдатель – тоже человек, – писал Михайловский, – и следовательно, может себя мысленно поставить в положение такого же, как и он, человека"²⁴ Такая операция, конечно, неосуществима для естествоиспытателя, и возможность "понимания" как сопереживания и смышления с объектом исследования дана лишь социальному и историческому познанию.

Указанными особенностями взглядов Лаврова и Михайловского объясняется смысл их субъективного метода. Он лежит в той области, которую принято называть этикой социологического исследования. Дело в том, что несмотря на регулятивные идеологические нормы, предлагавшиеся Лавровым, и мировоззренческий ригоризм, нередко практиковавшийся Михайловским, само исходное понимание ими субъективности социологического исследования органически включало в себя индивидуально-личностную установку исследователя. Этический смысл субъективного метода, собственно говоря, заключался в том, чтобы открыть перед социологом возможность присутствовать в самом исследовании в качестве человека со всеми его ценностями, предпочтениями, представлениями об идеальном, со всей его любовью и ненавистью. Лаврову и Михайловскому претила модель незаинтересованного, нейтрального наблюдателя или

аналитика, и попытки внедрить ее в жизнь они всегда с презрением относили к разряду догматико-теоретических иллюзий. Они были за научную социологию, но за такую, которая была бы открытой в своей социальной, политической и нравственной заангажированности и потому ответственной перед обществом за свой выбор. В этой связи они, в особенности Михайловский, требовали от социолога "уяснения себе самому" своей системы ценностей, ее сознательного, отрефлектированного, а не стихийно-хаотического применения в исследовании. Уже тогда они понимали, что социолог – это не агент социальной "науки", а суверенный субъект познания и преобразования социума. Они были сторонниками индивидуализации и персонализации проблематики, хода и результатов социологического исследования, без которых оно, как показывает и опыт сегодняшней социологии, превращается либо в фактологию, либо в абстрактное теоретизирование. Если гиперпозитивизм времен Лаврова и Михайловского требовал свободы социологии от метафизики субъективизма, то субъективный метод не менее справедливоставил во главу угла свободу от догматики объективизма.

ИСТОРИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

Не только *explicite* выраженная, но и методологически разработанная ориентация русской субъективной социологии заставляет внести коррективы в схему развития общеевропейской социологии, которая представлена практически во всех не только обзорных, но и детализированных исследованиях ее истории. В особенности поправки необходимы, если речь идет о второй половине XIX в. Суть этой схемы в интересующем нас здесь аспекте заключается в том, что в качестве единственной реально существовавшей в те десятилетия альтернативы социологическому позитивизму, натурализму и гиперобъективизму обычно указывается на немецкий неокантианский проект "наук о культуре" (с их методом "отнесения к ценностям"), на опыты его осуществления в работах Р. Штаммлера и Г. Зиммеля, а также на формулировку "принципа объективности" (*Objektivitätsprinzip*) М. Вебером, включившим в него императив не только "внечленностности" социально-научной аналитики, но и мировоззренческой обусловленности выбора объектов (проблематики) исследования. Вклад М. Вебера в методологические основы антипозитивистской социальной науки, впрочем, не исчерпывался этим операционально-компромиссным "принципом объективности", а был гораздо более широким и полемически заостренным. В своем "учении о науке" (*Wissenschaftslehre*) он поставил перед социальными дисциплинами задачу "понимания" общества, в отличие от "объяснения", которое в практике позитивистской социологической теории чаще всего сводилось к укладыванию реальности в Прокрустово ложе концептов. Веберовский подход нашел выражение в его концепции социальной науки, социологии в том числе, как "науки о действительности" (*Wirklichkeitswissenschaft*). Ценности, мировоззренческие установки, идеалы и нравственные целеполагания получили в этой концепции значение легитимных орудий познания, хотя при

этом Вебер всегда также вменял исследователю в обязанность сознательное регулирование масштабов их влияния на итоги познания. В том числе и специфику обоснованного им "идеального типизирования", по сравнению с процедурой обобщения, М. Вебер видел, наряду с некоторыми технико-эпистемологическими моментами, в факте участия в нем мировоззренчески-устойчивых ценностных шаблонов. На "учение о науке" М. Вебера стали обращать особое внимание в последние десятилетия и прежде всего по причине неудовлетворенности социологов тем плоским и никогда в действительности не осуществимым позитивистским объективизмом, под знаменем которого развивалась социология в XIX да и в начале XX в. и который в послевоенный период приобрел расширительное и в значительной мере окрашенное в иронические тона имя "американской социальной науки". Антипозитивизм и антинатурализм веберовско-зиммелевского толка справедливо рассматриваются в этой связи в качестве национального социологического направления, противостоящего доминировавшему в XIX – начале XX в. в Европе и в США социологическому позитивизму. Один из старейший представителей немецкой послевоенной социологии, собственно, один из ее создателей, Фридрих Тенбрук писал недавно в своей получившей большую известность книге "Неопреодоленные социальные науки, или Ликвидация человека", что предложенная М. Вебером методология нигде, кроме Германии, не была принята к сведению, не говоря уж о том, что она не была усвоена интернациональной социологией. В плане историко-социологическом Тенбрук делает вывод: "Единственная страна, в которой продуктивно развивалась собственная (по сравнению с общеевропейским позитивизмом. – Н.Н.) социологическая традиция – это Германия. Только в Германии фундаментально критиковали социологическую науку об "объективных законах" как опасное фальсифицирование социальной действительности, влекущее за собой тяжкие последствия для ее культурного содержания. Из этой критики выросла представленная в первую очередь Георгом Зиммелем и Максом Вебером программа науки о действительности, которая, однако, в силу исторических обстоятельств не оказала влияния на интернациональную социологическую дискуссию, так что реально в социологии продолжал действовать лишь позитивизм"²⁵

Тенбрук не одинок в этой историко-социологической характеристике: культурно-ценностная ориентация социального знания в Германии в конце XIX – начале XX в. рассматривается всеми западными историками обществоведения в качестве "единственной в своем роде" в русле доминировавшего тогда социологического объективизма; веберовско-зиммелевской методологии справедливо отводится роль "прокладчика путей" для позднейшего понимания принципиальной неразрывности объективности и ценостности в социальном исследовании.

Однако фактическое состояние дела таково, что тогда же, а в сущности даже и опередив немецкую методологическую рефлексию, ту же самую роль выполняла и русская субъективная социология. На сходства, близость, подобия, параллели между программой Лаврова и Михайловского, с одной стороны, и немецкой "культурно-оценивающей" и "понимающей социологией" – с другой, указывается как в отечественной, так и

в западной литературе²⁶. Но, пожалуй, тут следует говорить о более основательной, а именно – парадигматической степени родства этих двух направлений. Его анализ не входит в задачи автора данной статьи. Однако все изложенное выше дает возможность отнести русскую субъективную и немецкую веберовско-зиммельевскую социологию к одному и тому же типу социальномаучного мышления – антипозитивистскому и стремящемуся соединить объективность с оцениванием. Количество фактически-содержательных совпадений между взглядами Лаврова и Михайловского и несколько позже литературно выраженнымми взглядами М. Вебера огромно: начиная с интегрального для лавровской концепции понятия "жизнь" (у М. Вебера это – "действительность") и кончая текстуальными сходствами в определениях Михайловским и М. Вебером обязанностей социолога по осознанию своей собственной системы ценностей. Не менее разительны совпадения и между методологическими идеями Лаврова и Михайловского, с одной стороны, и баденской ("эго-западной") школы неокантианства (В. Виндельбанд, Г. Риккерт) – с другой. Центральное понятие "наук о культуре" и идеографизма – отнесение к ценностям, – если и не было эпистемологически сформулировано этими русскими методологами, то в общем его содержательном смысле постоянно использовалось ими при наметке императивов специфически социального, в отличие от естественнонаучного, типа исследования. В этой связи, пожалуй, следует напомнить об уникальном по своей обширности и текстуальной точности анализе родства между этими двумя направлениями, осуществленном В.М. Черновым (1876–1952) еще в 1907 г. в книге "Философские и социологические этюды"

В историко-социологических²⁷ схемах, фиксирующих методологический распад европейского обществоведения к началу XX в. на позитивистской (неопозитивистской) и культурно-гуманитарный варианты, русская субъективная социология обычно не учитывается, а проще говоря – не поминается ни словом. Между тем эта социология и сложилась (в 60–70-е годы) в атмосфере общеевропейской дискуссии о путях научного социального знания, и в дальнейшем в ее проблемно-методологическом содержании была, наряду с веберовско-зиммельевской, составной частью антипозитивистского потока в европейском научно-социальном мышлении. Причины, по которым она (подобно немецкой "культурно-оценивающей" и "понимающей" социологии) не включилась в тогдашнее интернациональное социологическое движение, а позже, вплоть до настоящего времени, оказалась – в ее главной, методологической части – не замеченной и не оцененной историками социологии, – это особая тема, равно как и тот факт, что русская позитивистская социология второй половины XIX – начала XX в. самым активным образом в этом движении участвовала и ее достижения в той или иной мере признаны и зафиксированы в исторических и аналитических разработках прошлого мировой социологии.

¹ Ковалевский М.М. Г.Н. Вырубов // Русские Ведомости. 1914. № 277.

² Роберти Е. де. Памяти духовного вождя // Вестник Европы. 1914. № 1.

³ Roberty E. de. L'Economie politique et la science sociale. Carey. Principles of social science // La Philosophie positive. Revue. 1868. T. II, N 4. jan.-févr. P. 108–129.

- ⁴ Роберти Е. де. Политико-экономические этюды. СПб., 1869.
- ⁵ Robert E. de. De quelques lois de l'Economie politique // La Philosophie positive. Revue. 1869. T. V, N 3, nov.-déc. P. 358–382.
- ⁶ Роберти Е. де. Политико-экономические этюды. С. 23, 33–34, 99 и др.
- ⁷ Там же. С. 218.
- ⁸ Струнин А.И. История и метод. СПб., 1869. С. 441.
- ⁹ Лавров П.Л. Задачи позитивизма и их решение // Лавров П.Л. Философия и социология: Избр. произведения: В 2 т. М., 1965. Т. I. С. 634.
- ¹⁰ Там же.
- ¹¹ Лавров П.Л. Исторические письма // Там же. М., 1966. Т. 2. С. 51.
- ¹² Лавров П.Л. Задачи позитивизма и их решение. С. 607.
- ¹³ П. М-въ. О методе в Социологии: Письмо в редакцию "Знания" // Знание. 1874. № 1. С. 16. Критика и библиография.
- ¹⁴ П. М-въ. Социологи-позитивисты // Там же. 1872. № 3. С. 128.
- ¹⁵ Лавров П.Л. Исторические письма. С. 38.
- ¹⁶ Лавров П.Л. Задачи позитивизма и их решение. С. 612.
- ¹⁷ П. М-въ. О методе в Социологии. С. 13.
- ¹⁸ Там же. С. 15.
- ¹⁹ Михайловский Н.К. Собрание сочинений. СПб., 1896–1897. Т. 3. С. 392.
- ²⁰ Там же.
- ²¹ Там же. С. 406.
- ²² Там же. С. 404.
- ²³ Недавнее подведение итогов этой критики см., например: Friedrich H. Tenbruck: Die unbewältigten Sozialwissenschaften oder die Abschaffung des Menschen. Graz; Wien; Köln, 1984.
- ²⁴ Михайловский Н.К. Собрание сочинений. Т. 3. С. 402.
- ²⁵ Friedrich H. Op. cit. S. 320.
- ²⁶ См., например: Beyme K.V Politische Soziologie im zaristischen Russland. Wiesbaden, 1965. S. 18; Vucinich A. Social Thought in Tsarist Russia: The Quest for a General Science of Society, 1861–1917. Chicago, 1976. P. 23.

МЕСТО И РОЛЬ НАУКИ В МИРОСОЗЕРЦАНИИ ПАВЛА ФЛОРЕНСКОГО

A.H. Павленко

История мысли, равно и в науке и в философии, изобилует случайностями. Широко известна история с работой Пуанкаре по электродинамике, опубликованной в малоизвестном итальянском журнале и оставшейся поэтому вне поля зрения научного сообщества, что, по мнению некоторых исследователей, стоило ее автору приоритета в создании специальной теории относительности. И, наоборот, работа А.А. Фридмана "О кривизне пространства" оказывается по чистой случайности своеевременно переведенной на немецкий язык и опубликованной в одном из ведущих немецких журналов. В результате, уравнения Фридмана становятся всемирно известными, а сам он признается отцом эволюционной космологии. Но в те же 20-е годы судьба оказывается менее благосклонной к его соотечественнику о. Павлу Флоренскому. Написав "Об-